



Франсуаза
САПАН

СИНЯКИ НА ДУШЕ

Признаться в любви — и не оказаться
при этом смешной. Рассудок твердит,
что это невозможно, но сердце не желает слушать.
Любить — это не внимать голосу разума.

Фредерик Бегбедер

Саган. Коллекция

Франсуаза Саган

Синяки на душе

«Азбука-Аттикус»

1972

УДК 821.133.1

ББК 821.133.1

Саган Ф.

Синяки на душе / Ф. Саган — «Азбука-Аттикус»,
1972 — (Саган. Коллекция)

ISBN 978-5-389-17509-9

Франсуазу Саган называли Мадемуазель Шанель от литературы. Начиная с самого первого романа «Здравствуй, грусть!» (1954), наделавшего немало шума, ее литературная карьера складывалась блестяще, она с удивительной легкостью создавала книгу за книгой, их переводили на различные языки, и они разлетались по свету миллионами экземпляров. В романе «Синяки на душе» (1972), как и во многих романах писательницы, речь идет о любви, хрупкой, нерешительной, мимолетной. Верная себе Саган заводит своих персонажей в лабиринт запутанных отношений: вокруг Себастьяна и Элеоноры кружатся странные люди, пытаясь проникнуть в тайны брата и сестры, а те, изысканные, сдержанные, ироничные, со смехом ускользают, ведь они вероломны, то есть – по слову поэта – «сами себе верны»... Франсуаза Саган, и сама зачастую избегавшая докучных жизненных обязательств, создавая этот двойной автопортрет, заодно азартно полемизирует со своими поклонниками и критиками, не забывая поглядывать, чем же закончится одиссея ее героев.

УДК 821.133.1

ББК 821.133.1

ISBN 978-5-389-17509-9

© Саган Ф., 1972
© Азбука-Аттикус, 1972

Франсуаза Саган

Синяки на душе

Françoise Sagan
DES BLEUS À L'ÂME

Copyright © Flammarion, 1972 © Stock, 2009

Published by arrangement with Lester Literary AgencyПеревод с французского Аллы Борисовой

© А. К. Борисова, перевод, 1999

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019 Издательство Иностранка®

Март 1971 года

Мне хочется написать: «Себастьян поднимался по лестнице, ступенька за ступенькой, то и дело с трудом переводя дух». Занятно обратиться сейчас к персонажам девятилетней давности: Себастьяну и его сестре Элеоноре, людям, конечно, из театрального спектакля, но театр этот – веселый, мой, постановки тут вечно проваливаются, но они всегда бесшабашны, бесстыдны и целомудренны и напрасно пытаются подделаться под Мориса Саша в нашем безнадежно уставшем от своей обыденности Париже. К несчастью, обыденность Парижа, а может, и моя собственная подавила во мне безрассудные желания, и теперь я с усилием пытаюсь вспомнить, когда и как «это» началось. «Это» – значит отказ от желаний, скука, размытые очертания жизни – все то, что привело меня к существованию, по сей день и по весьма веским причинам всегда меня привлекавшему. Более того. Это, я думаю, началось в 1969-м, а из событий 1968-го, из всех этих порывов и провалов вряд ли, увы, вышел какой-нибудь толк. И дело не в возрасте: мне тридцать пять, зубы у меня в порядке, и, если мне кто-то нравится, обычно все удается. Просто я больше ничего не хочу. Я бы хотела полюбить, и даже страдать, и даже трепетать у телефона. Или ставить десять раз подряд одну и ту же пластинку, вдыхая воздух разбудившего меня утра, воздух, несущий естественное благословение природы, такой мне знакомый. «Я перестал чувствовать вкус воды, а потом вкус победы». Кажется, так поет Брель. Так или иначе, больше этого нет, я даже не знаю, понесу эти записки издателю или нет. Это ведь не литература и не исповедь души – просто некая особа стучит на машинке, потому что боится самой себя и машинки, рассветов и вечеров и пр. И других. Это плохо, когда есть страх, даже стыдно, и раньше я его не знала. Вот и все. И то, что это «все», – ужасно.

И такова сейчас не только я, весной 1971-го, в Париже. Я только и вижу, только и слышу вокруг себя людей нерешительных, перепуганных. Быть может, смерть бродит вокруг нас, и мы улавливаем ее и чувствуем себя несчастными неизвестно почему. Ибо, в конце концов, не в этом дело. Смерть – я не говорю о физической смерти – представляется мне в черном бархате, в перчатках и в любом случае чем-то непоправимым, окончательным. Порой окончательность уходит, как было в пятнадцать лет. К несчастью, я хорошо знаю, какая это радость – жить, и потому ощущение окончательности возникает во мне мимоходом, как минутная слабость, и я буквально надрываюсь, чтобы захотеть этой мимолетности. Из гордости, может быть, да еще из страха. Собственная смерть есть наименьшее зло.

Но что повергает в ужас: бесконечное насилие повсюду, непонимание, злоба, часто оправданная, одиночество, ощущение стремительно надвигающейся беды. Молодые люди, которые ни на секунду не потерпят даже мысли – если она вообще придет им в голову – потерять хоть один день своей юности, и люди зрелые, которые изо всех сил стараются оттянуть старость, отбиваясь от нее уже после тридцати. Женщины, которые хотят быть наравне с мужчинами,

убедительные доводы и добрая воля одних, безжалостный комизм других – все это свойственно людям, но подчинено Богу, которого они хотят отринуть и имя которому – Время. Но кто читает Пруста?

И новый язык, и неспособность понять друг друга, и молоко человеческой нежности, возникающей порой. Редко. А иногда – чье-нибудь восхитительное лицо. И безумная жизнь. Она всегда виделась мне неистовым зверем, обезумевшей матерью. Как Блуди Мама или Джокаст и Леа и, конечно и прежде всего, Медея. Мы брошены сюда, на эту планету, которая не претендует даже – о, какое оскорбление – на исключительность; когда я говорю «оскорбление», я имею в виду именно это, потому что единственное место, где может быть жизнь, мысль, музыка, история – у нас, и только у нас. Разве это может быть у других? Разве у нашей общей матери – жизни, этой лживой любовницы, были еще дети? Когда человек, люди с корабля «Аполлон», например, бросаются в космическое пространство, то вовсе не для того, чтобы найти братьев по разуму, – я убеждена в этом. Ему нужно удостовериться в том, что их нет, что эти несчастные семьдесят лет жизни (или сколько ему дано) принадлежат ему одному. Он страдает от предполагаемого первенства марсиан. А почему считается, что марсиане безобразны и малы ростом? Потому что мы ревнивы. Или еще: «Ведь правда, что на Луне нет травы?» – «Нет, трава есть только у нас». И вся эта славная земля, полная национализма и страха, одинаково радостно и успокаивается, и терзает себя и когда зарастает травой, и когда ее заливают кровью, и в том и в другом случае повинувшись нелепости существования. И все эти кретины, которые заботятся о «народе», трогательно неловкие в своих левацких сюртуках, уже давно израсходовавшие все, что им было дано, говорят нам о «народе», нам, которые ненавидят правых и защищаются от левых, стараясь не допустить, чтобы злой безумец (или тихий) превратил бы тот самый свой жалкий сюртук и вовсе в лохмотья, непригодные для употребления. Народ.

Не дано понять, что это слово даже оскорбительно, что есть какой-то человек и еще человек, есть женщина, ребенок и еще какой-то человек, что каждый не похож на другого и понятен во всех своих притязаниях и что в большинстве случаев, вопреки расхожему представлению, этот каждый не может ни понять другого, ни увидеть его, ни прочесть. Сартр, вскарабкавшись на бочку, быть может, понимал это, хотя был честен и неловок. А Диоген, сидя внутри нее, говорил с каждым. Оба – тонко чувствующие люди, наделенные умом на первый взгляд, высмеивающие все и вся. Они смеются и над собой. Это здорово – в наше время быть смешным, «осмеянным» чьим-то острым умом. Здорово и беспокойно – потому что здорово. Ни Стендаль, ни Бальзак такого бы не потерпели. (В своих произведениях, конечно.) Единственным пророком в этом смысле был Достоевский, по крайней мере для меня.

Я рассуждаю о жизни вместо того, чтобы говорить о Себастьяне Ван Милеме, шведском аристократе, очень веселом и очень несчастном. Но что я знаю об этом? Когда он появится снова, я расскажу о нем подробнее. Это моя задача, я пишу, я люблю это и хорошо свою задачу вижу. Мне кажется, жизнь похожа на мать-самку, которая берет своих детенышей за шиворот, чтобы вывести их на прогулку, как делают догадливые и заботливые кошки (такая позиция обеспечит вам довольно удобное существование). Или поперек спины. Или за лапу. Именно в этом неустойчивом положении, желая падения как передышки, находится изрядное число наших современников. И забудем безумства любви, жизненные ловушки, великие страдания и кое-каких поэтов. Забудем их. Конечно, это верх глупости, но я никогда не забуду поэзию; я никогда не любила ее так, как сейчас, и никогда не умела писать стихи.

Я запросто могла бы вызвать в памяти запах травы и бросить корзинку из пахучей соломы в этот роман, откровенно петляя какой-нибудь главой. Теперь для меня самое важное – назвать. Как только я погружаюсь в запах травы, опускаю в него лицо, я тут же обязана назвать его: господин запах травы. А море, сумасшедшее море – я тоже должна познакомить его с собой,

вернее, представить своему телу: это твой большой друг – море. Оно узнало его, но не бросилось навстречу. Я – нежная мать, прогуливающая в Виши капризное дитя – собственное тело. «Поздоровайся с мадам Дюпон, которая была так добра с тобой в прошлом году (или десять лет назад), когда ты болела». А ребенок упирается. Отказывается он порой и от аромата любви, и от ее колдовских чар. И я в испуге отворачиваюсь от разноцветных реклам в газетах, где прозрачное море омывает красноватые утесы, где простираются безукоризненные пляжи за тысячу триста пятьдесят франков в оба конца. «О, пусть они едут туда, – вздыхает мое зачарованное тело, – пусть они все туда едут, пусть загорают и развлекаются в тех местах, которые так часто были для меня смыслом жизни, моей любовью, моей добычей. Пусть они берегут их. Да здравствуют Средиземноморские клубы. К черту море с тем же названием! Пусть оно резвится с юными завсегдатаями или со старыми, с туристами – бедное, безумное море! Я больше не буду его воспевать – я его забуду; впрочем, нет, однажды, в какой-нибудь подходящий день, в апреле например, я случайно поеду туда, рассеянно окуну в него ногу или руку, зябко поеживаясь. Оно и я, как много раз прежде...» Наверное, грустно стареть – больше не узнавать своих. И что я скажу об этих многочисленных телах, которые шагают рядом с моим, через пятнадцать лет, с которыми засыпаю или время от времени оживляюсь и от которых теперь бегу, как будто я стала воплощением того, о чем говорит Элюар: «Худое, рвущееся ввысь тело, зверь, любимый в детстве, – это тело растерянной птицы»?

Себастьян поднимался по лестнице ступенька за ступенькой, то и дело с трудом переводя дух. Шестой этаж был для него все-таки высоковат. И не потому, что ему мешал слишком большой вес – дело было в десяти тысячах сигарет, выкуренных давно и недавно, и десяти тысячах стаканов всяких напитков – их разнообразие и сейчас заставило его улыбнуться. И правда, в последние годы завелась привычка вспоминать напитки, а не женщин, как это было раньше. Был год коктейля «Негрони», соответствующий году Недды, год сухого мартини, соответствующий году Мариэллы Деллы, хоть это и длилось больше года. Год рома, в Бразилии, с Анной Марией. Как все это было весело, бог ты мой! В конечном счете он не был ни ходяком, ни любителем выпить, просто его восхищало соединение вина и женщин. В любом случае господствующей величиной существования была его сестра Элеонора, она, и только она, без вина и вместе со всем вином в мире. Во все времена жизнь без нее, вино без нее были все равно что пресная вода. В самом деле, куда удобнее, когда кто-то смотрит за тобой, даже если этот кто-то – что бы она там ни говорила – еще больший раб, чем ты сам. Время от времени она взбадривалась, выходила замуж, исчезала, и через несколько путаных месяцев и многочисленных ссор, о которых она рассказывала не иначе как по прошествии долгого времени и всегда весело смеясь, она возвращалась. Богатая или бедная, изнуренная или пышущая здоровьем, грустная или веселая, но всегда сумасбродная, несравненная, прекрасная Элеонора, его сестра, возвращалась к нему.

В этот раз они вместе вернулись после длительного пребывания в Скандинавии, у мужа Элеоноры, и ситуация их была плачевной. Просто чудо, что старый друг Себастьяна оставил им две комнаты на улице Флери. У них было не так уж много денег – и в банке, и в карманах. Элеонора отдала брату несколько своих прекрасных украшений – для продажи, поскольку совершенно не дорожила ими: на что они еще годны? Зато для какой-нибудь другой женщины они могут стать козырем.

Себастьян позвонил, и она тут же открыла ему. На ней был халат.

– О-о, бедный мальчик, – сказала она, помогая ему добраться до расшатанного кресла, – бедный мальчик, он так пыхтел, взбираясь по лестнице, в его-то возрасте... Я слышала, как ты поднимался, боялась, что не дотянешь.

Он держался за сердце, вид был измученный.

– Постарел я, – сказал он.

– И я, – она засмеялась, – когда спускаюсь по лестнице, чувствую себя Исидорой Дункан, просто порхаю. Когда поднимаюсь, я Домино Фэтс. Кого-нибудь встретил?

Кого-нибудь – значит, кого-то из не очень постоянных знакомых, кто, ценя их очарование, чудачества и их везение, приходил иногда провести с ними время. Недостатка в подобных случаях не было, и обычно именно Себастьян кого-нибудь и приводил, Элеонора же, если к тому был повод, предпочитала куда-нибудь пойти.

– Никого, – сказал Себастьян. – Артуро в Аргентине, чета Вильявер – в отпуске; что касается Никола – хочешь верь, хочешь нет, – он работает.

В глазах Элеоноры мелькнуло выражение растерянности и легкого ужаса. (Работа никогда не была сильным местом Ван Милемов.)

– Что за город! Кстати, у меня хорошая новость: здесь можно одеваться как угодно. К черту великих портных: какая-нибудь занавеска, брюки, парадные украшения – сойдет все, что хочешь. Я посмотрела на улице. При условии, что я не забываю о своих тридцати девяти годах, я еще вполне... Похоже, я не останусь одна...

– Тем лучше, – сказал Себастьян. – Я никогда и не сомневался.

Он был прав: худощавая, с невероятно длинными ногами и прекрасно вычерченным лицом – высокие скулы, светлые, чуть вытянутые к вискам глаза, – Элеонора была великолепно. А на его лице, такого же рисунка, как у Элеоноры, всегда сохранялось выражение мягкого скептицизма. Нет, что ни говори, они прекрасно дополняли друг друга. Он вытянулся в кресле.

– Скука – это когда рядом нет людей, которые тебе нужны. Надо бы довольствоваться обществом собственной персоны, – может быть, даже больше, чем твоим.

– Прекрасно, – сказала она. – И как ты до этого дошел?

– Благодаря Никола. Ему кажется, что множество пресыщенных мужчин занимаются любовью друг с другом, а воющие женщины рыскают по городу в поисках добычи. А когда они молчат, их заменяют студенты. Да, паразитизм есть паразитизм.

– Давай без громких слов. Посмотри лучше, как прекрасен Париж.

Он облокотился о подоконник рядом с ней. Стену напротив освещал розовый свет, а на крышах соседних домов сверкали блики. Запах свежей земли доносился из Люксембургского сада, заглушая бензиновые испарения. Он засмеялся:

– Если ты оденешься в занавеску, может, мне отрастить волосы?

– Советую поторопиться. Скоро их не останется совсем.

Он легонько шлепнул ее по ноге. У него никого не было, кроме нее.

Может быть, я все-таки должна рассказать историю моих героев? А то не похоже на начало романа. Может, следует – как это говорится? – обрисовать характеры персонажей, декорации. Последние особенно скудны. Но декорации убивают меня, кроме тех случаев, когда авторы, описывая их так скрупулезно, так вкусно, получают от этого такое удовольствие, что я готова улыбнуться от радости за них. Перечитываю написанное: шесть этажей, расшатанное кресло, крыши (понятно, если шестой этаж) – м-да, маловато. Но мне кажется, что скромность и ненадежность существования моих героев достаточно показана именно этими шестью этажами. Я всегда ненавидела высокие этажи; когда я поднимаюсь, у меня срывается дыхание, а когда спускаюсь, то кружится голова. (Я порвала с одним человеком из-за пятого этажа. Он так об этом и не узнал.) Предоставив моим Ван Милемам то, что я терпеть не могу сама, я еще оставила им пустую квартиру – куда уж хуже. Но они веселы – это и есть лучшая декорация. Тем более что теперь нужно найти кого-нибудь, кто бы их содержал, и чтобы этот кто-то не был слишком условным – иначе будет смешно. Понятия не имею, где мне его найти: богатые всегда кричат, что у них нет денег, бедные не кричат, а только тихо жалуются: вы же знаете, налоги и т. д. Нужно найти какого-нибудь иностранца. Вот до чего дошла Франция в 1971 году. Заботясь о достоверности, я вынуждена разбавить моих очаровательных Ван Милемов каким-

нибудь иностранцем. Предпочтительно проживающим в Швейцарии. Это весьма неприятно для моей национальной гордости. С другой стороны, я не могу заставить Элеонору работать в фирме «Мари-Мартен» или где-нибудь в ломбарде. Так же, как бросить Себастьяна в финансовые дела или на биржу. Они умрут там оба. Вопреки тому, что обычно думают, безделье – такой же сильный наркотик, как труд. Если великого труженика лишить работы, окажется, что он начинает чахнуть, худеть, впадать в депрессию и т. д. Но лентяй, подлинный лентяй, проработав несколько недель, оказывается в состоянии прострации. Он чахнет, худеет, впадает в депрессию и т. д. Я не хочу, чтобы Себастьян и Элеонора работали до полусмерти. Меня достаточно упрекали за мой маленький мир, праздный и пресыщенный, мир шутов гороховых; но это не причина, чтобы приносить на жертвенный алтарь критики моих усталых шведов. Позже, вместе со всем прочим, я рассмотрю этот вопрос в другой книге (если Господь Бог и мой издатель продлят мне жизнь). Когда-нибудь я расскажу о списке расходов, о машине и телевизоре в кредит, об обычных людях. Если они есть. Со всем тем, что они тянут на себе. Я знала людей, машины которых похожи на маленькие металлические коробочки и для которых пробка посреди старых, добрых, милых сердцу выхлопных газов – тайная радость. У них есть час-полтора между конторой и домом – и они рады. Потому что хотя бы час такой человек один в своей маленькой коробочке. Никто не пристанет к нему, никто с ним не заговорит, он не станет «жертвой агрессии», как говорят психиатры. Заставьте признаться в этом любого мужчину или любую женщину, которые работают... Машина-кров, машина-хижина, машина – материнская грудь и т. д. Так что, с моей точки зрения, это не инструмент автоаварий, который хозяева протирают специальной тряпочкой по воскресеньям, – это их одиночество и их единственный светлый луч.

Радоваться надо осторожно. Я не доверяю сладкой эйфории, которая после сильного начала захватывает писателя через две-три главы и заставляет цедить сквозь зубы что-нибудь вроде: «Ну вот, все пошло отлично!», «Так, а теперь еще лучше!». Фразы, конечно, механические и убогие, а иногда более развернутые: «Но ведь не должен же я наступать на горло собственной песне». Звучит более лирически и порой искренне. Вот так художник может сбиться с пути: несоответствие тона может увести его от товарищей по ремеслу, от других людей. Эта эйфория опасна, поскольку подкрепляется верой в «незыблемые основы» (всегда со ссылками на конкретные дела), – так почему бы, после всех высказанных опасений, не пойти немного погулять? Особенно если рядом пустынный и залитый косыми лучами светлого мартовского солнца Довиль. Глядя позавчера на одинокие здания на фоне сверкающего неба, на море, очень кстати всеми покинутое (Ла-Манш у меня никогда не пользовался взаимностью из-за его температуры), я поняла, почему молодые режиссеры тащат туда свои камеры и своих героев зимой. И тут же я подумала, что не могу больше выносить на экране зрелища бегущей по пляжу пары, так же как, впрочем, вида двоих людей (или дюжины), независимо от их пола, в постели, с обнаженным торсом, под более или менее сползшим одеялом. Сообщаю, кстати, любителям шалостей: ни в малейшей степени, ничего подобного в этом романе не будет. Максимум: «Элеонора в этот вечер домой не пошла». Заверяю вас, так и будет! Что они сделали с безумием ночей, шепотом в темноте, с «таинством», великим таинством физической любви? Неистовая сила, красота, гордость обладания – что от них осталось? Мы видим некую даму в постели, которая, закрыв глаза, поводит туда-сюда головой, затем профиль и мускулистую спину какого-то бедного парня, который ритмично двигается, а ты тихо ждешь в своем кресле, когда же это кончится. Публика скорее завидует, чем шокирована: по крайней мере, развлечение. Все эти гроздя, эти тонны человеческой плоти, которые бросают нам в лицо с экрана, – плоти загорелой или бледной, в положении сидя, сверху, лежа – какая скука! Вот оно, тело, пришло его счастье, его час – радость потребления! Бедняги... Они думают, что разрушают смехотворные предрассудки, – на самом деле они уничтожают прекрасную сказку. Не хватает еще время от времени вставлять: «Возможно, я заблуждаюсь». Старая уступка читателю, но глупо делать ее

здесь, поскольку в мои намерения как раз и входит заблуждаться. Впрочем, эти поверхностные исследования на эротическую тему меня раздражают. Возвращаюсь к Ван Милемам, «которые много занимаются этим, но никогда об этом не говорят».

Ресторан был замечательный. Элеонора заказала девять устриц с лимонным соком и золотистую морскую рыбу. И наконец «Пюйи Фюиссе», очень сухое. Голодный Себастьян набросился на яйцо в желе и бифштекс с перцем, конечно же сопровождаемый «Божоле». «Божи» не было, и оба выразили по этому поводу легкое сожаление. В противоположность своим прежним намерениям, Элеонора была одета не в занавеску. Она по мановению волшебной палочки, которой только она и владела, встретила на улице свою старинную приятельницу, деятельную, некрасивую и преданную, и во исполнение мечты каждой женщины та отвела ее к своему знакомому, хозяину ателье проката с оплатой «после». Очарованный Элеонорой, он так разочаровался, что предоставил ей несколько платьев, сшитых будто специально для нее, и при этом негодуя махал руками, типично по-гасконски, когда она пыталась вручить ему чек. Так что роскошно одетая Элеонора проедала девять тысяч последних старых франков Себастьяна – а значит, и своих – на террасе кабачка на улице Марбеф.

– После завтрака, я подсчитал, у нас останется две-три тысячи франков, – сказал Себастьян, щурясь от солнца, светившего ему в лицо. – Ты заказала десерт? Если нет, мы сможем вернуться домой на такси.

– Глупо, конечно, – сказала Элеонора, – но, поскольку я заказала пирожное, такси становится почти невозможным. Жизнь – несносная штука.

Они улыбнулись друг другу. Сейчас, при безжалостном свете мартовского солнца, на лицах обоих проступили явные морщинки. «Моя старушка, – подумал Себастьян, – моя дорогая старушка, я выгашу тебя из всего этого». От волнения у него так перехватило горло, что это поразило его самого.

– По-моему, в твоём бифштексе было слишком много перца, – рассеянно сказала Элеонора. – У тебя на глазах слезы.

Она опустила глаза. Отдавала ли она себе отчет в том, что оба они – пара никчемных добряков в этом городе, чужом, гнетущем и равнодушном к обаянию и прелестям Ван Милемов? Конечно, мужчины обращали на нее внимание, но надо было бы повести ее в «Максим», в «Плаза», бить копытом о землю, прыгать и скакать вокруг нее. А у него не слишком подходящий для этого костюм. Он залпом осушил стакан.

– На ужин, – медленно сказала Элеонора, – мы купим упаковку равиолей, я их обожаю. И если тебе не будет скучно и ты сумеешь наладить радио в квартире своего друга, послушаем концерт из Театра Елисейских Полей. Сегодня его передают. Мы откроем окно, и будет чудесно.

– А что у них сегодня?

– Малер, Шуберт, Рихард Штраус. Я специально посмотрела. Какой прекрасный завтрак, Себастьян.

Она вытянула перед собой руки с длинными пальцами в знак удовольствия. На мужчину, сидевшего позади нее, этот жест произвел впечатление, и Себастьян развлекался про себя, видя, как тот даже побледнел от желания. Вообще-то, он смотрел на Элеонору с того момента, как она вошла, в открытую, не сводя глаз, так что Себастьяна, сидевшего напротив, это стало стеснять. На нем были поношенный костюм и жуткий галстук, салфетка лежала рядом. Должно быть, мелкий служащий этого квартала, несколько озабоченный. Впрочем, открытость его пристального взгляда наводила и на другие размышления. О безумии, например. Во всяком случае, когда они встали из-за стола, он тоже поднялся, как будто сидел вместе с ними, и бросил на Элеонору взгляд исподтишка, как делают влюбленные подростки, – ее это даже смутило.

– Он не сводил глаз с твоего затылка, – сказал Себастьян в ответ на недоумевающий взгляд сестры. – Погуляем немного или пойдём домой?

– Мне хочется дочитать книгу, – сказала она.

Элеонора с головой уходила в книги, а иногда даже в газеты, а преданная подруга нашла для нее тут же, на улице Флери, книжный магазин, дававший книги с возвратом, хозяйка которого, тоже книгоманка, утоляла ненасытный книжный голод Элеоноры. Читала она несколько бессистемно, лежа на диване или в постели, часы напролет, а Себастьян уходил, приходил, разговаривал с завсегдатаями табачной лавки или служителями Люксембургского сада, методично преодолевая ступеньки шести этажей. Сегодня вечером, после равиолей и Малера, этой изысканной жизни придет конец. Его охватило спокойствие обреченности.

У Ван Милемов нет никакого выхода. Сейчас в Париже ни за что не найти шальных денег, даже им. Наличие неотступной заботы, которой я не предвидела, немного интригует меня. Что же делать дальше? Элеонора, как я правильно помню, терпеть не может глупцов. Зато, свидетельствую моему верному читателю, впервые за восемнадцать лет в литературе я предлагаю ему меню. Настоящее меню. Устрицы, рыба и т. д. И вина. И даже приблизительные цены. Чувствую, дело кончится тем, что роман будет многословный и нескончаемый. Сюда, ко мне внешнее и внутреннее описание дома, цвет занавесок, стиль мебели (help!), лица дедушки, платья юной девушки, запах чердаков, порядок приглашения к столу, форма салфеток, стаканы, скатерти и, наконец, такие, например, вещи: «Уложенный на лавровые листья, явился карп в окружении томатов и горького красного перца, и его сероватая кожа местами приподнималась, обнаруживая чешуйчатую белизну». Вот, наверное, счастье для писателя. Хватит тихой музыки – да здравствует оркестр! Поскольку я говорю о тихой музыке – второе уведомление предполагаемому верному бедняге-читателю: так же, как не будет в этой книге никаких шалостей, в ней не будет автобиографических моментов, забавных воспоминаний об улице Сен-Тропе, 54, ничего о моем образе жизни, моих друзьях и т. д. По двум причинам. Самое важное, на мой взгляд, – чтобы обо всем этом знала только я. И во-вторых, если я кинусь описывать факты, мое воображение – а оно на самом деле является фантазией – заставит меня раздваиваться и вести повествование неизвестно куда, над чем я сама же буду смеяться. Избегая достоверности, я не рискую солгать. И не ошибусь – по крайней мере, цитируя себя самое. Аминь. Верую от всего сердца.

Может быть, это смешно, но эта святая вера (моя), которая так часто обескураживает журналистов и, насколько я понимаю (интервью с Дали несказанно обрадовали меня), очень их занимает, эта самая вера, мирный бычок, которого я веду на веревочке с самого рождения (я, разумеется, говорю о большинстве моих сюжетов), стала ожесточенной, поскольку перед ее мордой постоянно трясут разными мулетами: Израиль, Россия, Польша, Новый роман, Молодежь, Арабский Восток, Коммунизм, Солженицын, Американцы, Вьетнам и т. д. Несчастное животное, лишенное пищи, необходимой для своего развития и своего понимания мира – куда я, в конце концов, и веду его, как всякий из нас, – превратилось в разъяренного быка, что и побуждает меня писать эту странную книгу манежным галопом. Этот бык свободен, «с сердцем разбитым и каменным одновременно». Я вовсе не собираюсь поддеть на рога моих пикадоров – людей, которые считают, что они ко всему подобрали ключ, что на самом деле не так, а они, бедняги, надсаживают горло, настаивая на этом. Они, без сомнения, мои друзья. Зато мои враги издавна кричат, что у меня то хищники, то евреи, то хандра и т. д. Пикадоры, о которых я говорю, – это те, кто еще призывает торжество демократии, свободу, которую они так любят, – впрочем, как и я, хотя начинаю опасаться, как бы у них в руках не остались бы только ее перья, а она бы не улетела, ощипанная, куда глаза глядят, это лучше, чем оставаться где бы то ни было в нашем сегодняшнем мире. Пусть придет кто-то, тоскующий по нашим тихим словам, наполовину уничтоженным теми, кто подражает нашему голосу. Когда я говорю «мы»,

то имею в виду бедолаг, которые не стремятся, насилуя себя, быть ни судьями, ни знатоками. Боюсь, таких немного. Вернемся к нашим шведам, укутаем их в шелка, золото и мазурки. Сей неловкий прыжок (с ноги на ногу) от наших политизированных размышлений приводит меня в отчаяние. Не будем больше об этом.

Концерт был прекрасен, хотя у Элеоноры подгорели равиоли, и Себастьян пытался заглушить сигаретами легкие приступы голода. Окно было открыто в ночь, и Элеонора сидела на полу, повернувшись к нему в профиль; от ее лица, такого знакомого и такого далекого, веяло покоем. «Единственная женщина, которую мне иногда хочется спросить: о чем ты думаешь?» – размышлял Себастьян. И единственная, которая никогда ему на это не ответит.

Зазвонил телефон, и они вздрогнули. Никто не знал, что они здесь, на островке шестого этажа, и Себастьян на секунду заколебался, отвечать или нет. Потом спокойно поднял трубку: сама жизнь явилась, чтобы призвать их к порядку, он это чувствовал – что ж, для финансовых дел как раз вовремя, но для их душевного состояния рановато. Почему бы им не покончить с собой, прямо здесь, после добропорядочного и преданного, в сущности, служения земному существованию? Он знал, что, не имея ничего общего с самоубийцами, Элеонора последует за ним.

– Аллю, – сказал оживленный мужской голос, – это ты, Робер?

– Робера Бесси нет, – вежливо ответил Себастьян. – Он должен вернуться на днях.

– Но в таком случае... – сказал голос. – А кто же вы?

«Люди стали плохо воспитаны», – подумал Себастьян. Он сделал над собой усилие:

– Он был так любезен, что оставил мне квартиру на время своего отсутствия.

– Так вы Себастьян? Но это же прекрасно! Робер столько говорил о вас... Послушайте, я хотел пригласить его в один дом: там соберется общество, веселое и шикарное, сегодня вечером, у Жедельманов... Вы не знаете Жедельманов? Что если я за вами заеду?

Себастьян вопросительно посмотрел на Элеонору. Оживленный голос раздавался как в громкоговорителе.

– Я не знаю, как вас зовут, – медленно сказал Себастьян.

– Жильбер. Жильбер Бенуа. Так вы согласны? Адрес...

– Мы с сестрой живем на улице Флери, – перебил Себастьян. – Думаю, мы будем готовы через полчаса, и в любом случае одни мы не пойдем, не будучи знакомыми с месье и мадам...

– Жедельман, – пробормотал голос. – Вообще-то, это клуб и...

– Итак, Жедельман. Вы сможете быть у нашего дома через полчаса или вы хотите встретиться позже?

Элеонора посмотрела на него блестящими глазами. Он играл очень здорово, учитывая, что у них абсолютно нечем было заплатить за такси и за бутылку кьянти, которая уже была записана на их счет у бакалейщика вместе с упаковкой равиолей.

– Я буду внизу, – сказал голос. – Вне всякого сомнения. Я не думал...

– Кстати, – сказал Себастьян, – меня зовут Себастьян Ван Милем, а мою сестру – Элеонора Ван Милем. Я это говорю для последующих представлений. До скорого.

Он повесил трубку и расхохотался. Элеонора тихо рассмеялась и посмотрела на него:

– Что это за Жедельманы?

– Бог их знает. Крупные буржуа, уже перешедшие на лимонад. Кто-то, кто имеет свой клуб. Что ты наденешь?

– Платье бутылочного цвета, наверное. Приведи себя в порядок, Себастьян. Возможно, тебе придется тяжелее, чем ты думаешь.

Он озадаченно посмотрел на нее.

– Фотографии в моей комнате и голос Жильбера говорят о том, что твой любезный приятель, наш хозяин, видимо, закоренелый педераст...

– Вот черт! – сказал Себастьян без всякого выражения. – А ведь и правда, я совсем забыл. Неплохое начало.

Два часа спустя они сидели за большим, шумным столом, и Себастьян чувствовал, как время от времени к его колену прижимается колено той самой мадам Жедельман, которая была уже весьма немолода. Но, в конце концов, ее ухоженность – массаж, душ, тщательная прическа, маникюр – привела Себастьяна к философской мысли, что другие не лучше и не хуже. Элеоноре, наоборот, ее сосед, видимо, надоел. Их приход произвел более чем заметное впечатление (кто такие эти два белокурых иностранца, такие высокие и такие чужие, да еще брат и сестра, что они здесь делают?); привел их Жильбер, в восторге от своей «находки», и теперь они сидели за почетным столом. Месье Жедельмана, вероятно уставшего от причуд своей жены, вынуждены были препроводить в спальню мертвецки пьяного в одиннадцать часов вечера. Две кинозвезды, певец, знаменитый репортер и кто-то абсолютно неизвестный сидели за столом мадам Жедельман, а фотографы вокруг порхали, словно ночные бабочки. Жильбер пытался ответить на вопрос, кто же такие Ван Милемы, но так как он сам решительно ничего не знал, кроме того, что Робер всю жизнь бесконечно восхищался Себастьяном, то он напустил на себя таинственный вид человека, знающего много больше, чем говорит, и тем самым только вызвал всеобщее раздражение.

– Да нет, месье, – послышался вдруг голос Элеоноры, и Себастьян насторожился, – нет, я не видела ни одного из этих фильмов.

– Но это невозможно – не знать, кто такие Бонни и Клайд!

Взбешенный киноман призвал в свидетели всех присутствующих.

– Она хочет сказать...

– Мадам, – перебила Элеонора, будто бы в рассеянности, – мадам хочет сказать.

– Мадам хочет сказать, – повторил бедняга, улыбаясь, – что она никогда не слышала о Бонни и Клайде.

– Я десять лет прожила в Швеции, месье, в заснеженном замке – я говорила вам. И у моего мужа не было кинозала «на дому», как вы выразились. И нога наша не ступала в Стокгольм. Вот и все.

Воцарилась тишина, потому что, хотя Элеонора и не повышала голоса, он звучал очень резко.

– Ты раздражена, ангел мой, – сказал Себастьян.

– Это утомительно – повторять и слышать тысячу раз одно и то же.

– Тысяча извинений, – саркастически сказал киноман, – но кому мы обязаны этим возвращением из снегов?

– Замок продан, а мой бывший муж сидит в тюрьме, – спокойно сказала Элеонора. – За убийство. У него свое кино. Себастьян, я устала.

Себастьян уже стоял позади нее, улыбаясь. Они поблагодарили мадам Жедельман, удивив ее этим еще больше, и вышли среди полного молчания. На лестнице клуба на Себастьяна напал такой смех, что он споткнулся. Кто-то их нагнал – это был певец. У него было доброе, очень открытое, круглое лицо.

– Могу я вас проводить? – спросил он.

Элеонора согласилась, не глядя на него, села в огромную американскую машину и назвала адрес. На Себастьяна снова напал безумный смех, к нему присоединился певец, и в результате они уступили просьбам последнего где-нибудь это отметить. На рассвете он довез их до дому, пьяный в стельку.

– Будьте осторожней, – дружески сказала Элеонора.

– Разумеется. Какой прекрасный вечер. Ах, какая была шутка, какая прелестная шутка...

– Это не шутка, – любезно сказал Себастьян. – Спокойной ночи.

Июль 1971 года

Решительно, лето 1971 года было прекрасным. Погода была очень хорошая, и сено уже скошили. На другой день после приезда я остановила машину недалеко от деревни Льорей. Под тополями. Я лежала на скошенной траве и, глядя снизу на маленькие темно-зеленые листочки деревьев, во множестве трепетавшие в солнечных лучах, чувствовала, что обретаю что-то важное для себя. Машина стояла на обочине дороги, похожая на большого терпеливого зверя. У меня было время для всего, и у меня не было времени ни для чего. Не так уж плохо.

В сущности, единственный идол, единственное божество, которое я чту, – время, и совершенно очевидно: все, что бы ни происходило со мной, плохое ли, хорошее ли, – все соотносится с ним. Я знала, что эти тополя будут жить после меня, а сено, наоборот, пожухнет раньше, чем я; знала, что меня ждут дома, и в то же время могла еще час лежать под деревом. Знала, что всякая торопливость с моей стороны так же глупа, как и медлительность. Не только сейчас – всегда. Я знала все. Зная, что это знание ничего не значит. Кроме отдельных моментов. Как мне кажется, единственно подлинных. Когда я говорю «подлинных», то имею в виду «моменты познания», впрочем и это глупо. Я никогда не буду знать достаточно. Никогда, чтобы быть совершенно счастливой, никогда, чтобы мной овладела некая страсть, захватившая всю мою душу, никогда и ничего не будет достаточно для чего бы то ни было. Но эти моменты счастья, согласия с жизнью, если их правильно назвать, выполняют роль покрывала, лоскутно-утешительного одеяла, которое натягивают на обнаженное тело, загнанное и дрожащее от одиночества.

Вот и сорвалось ключевое слово: одиночество. Маленький заводной заяц, которого выпускают на беговую дорожку и за которым гонятся борзые наших страстей, дружеские связи, запыхавшиеся и алчные, – маленький заяц, которого им никогда не поймать и за которым они гонятся изо всех сил. Пока у них перед носом не закроется дверца. Маленькая дверца, перед которой они падают замертво или начинают скрести ее лапами, как моя собака Плуто. Среди людей – множество таких Плуто...

Но пойдем дальше: вот уже два месяца я не занималась Себастьяном и Элеонорой. На что они живут, что с ними происходит, с моими дорогими Ван Милемами, пока меня нет? Я чувствую угрызения совести (не слишком мучительные), словно я их опекун... Надо бы вспомнить, как зовут тех богатых людей, к которым их привели... Жедельманы, и надо решить, что Себастьян, пока меня не было, сделал с этой дамой то, что должен был сделать, проворчав по этому поводу что-нибудь вроде: «В конце концов, я не щенок какой-нибудь, я – солидный человек» и т. д. Элеонору все это только рассмешило. Но где они живут? Сейчас август или вот-вот будет. Они не могут жить ни на улице Флери, ни на Лазурном побережье – с этим все. Может быть, в Довиле? Во всяком случае, занятно представить себе сцену «Себастьян соблазняет мадам Жедельман». Вообразим себе декорации: мебель – подлинный «Людовик XV», но не просто, а «богатый», день клонится к вечеру, такой теплый, нежный и голубой, какой только Париж умеет устроить среди лета, вообразим диван горчичного цвета и кое-какую современную американскую мебель «Knoll» – для «релакса». И среди всего этого вообразим Себастьяна, наливающего себе для храбрости побольше виски с содовой. Нет, без содовой.

«О небо!» – подумал Себастьян накануне, когда все произошло, а потом вслух повторил то же самое уже в присутствии Элеоноры; его мучительные сомнения относительно своих сексуальных способностей сменились не менее мучительной уверенностью относительно намерений мадам Жедельман. «О небо, как я теперь из этого выберусь? Она же бросится на меня и затянет в водоворот». Как всякое дитя севера, Себастьян боялся водоворотов.

Итак, он мерил длинными ногами, увы, в брюках, роскошную гостиную Жедельманов (стиль буль-лаланн) на авеню Монтень. Мадам Жедельман расслабленно возлежала на диване. Ей очень понравился Себастьян, его светлые волосы, и она пригласила его – «призвала», как

сказал Себастьян, на следующий день. У него не было причин для отказа, тем более что денег у них с сестрой не было, ни единого су. Элеонора, сочувствующая и ироничная, проводила его до лестничной площадки, как провожают старших братьев на войну. А теперь тут была та, другая, Жедельманша, как называют ее в Париже злые языки. Она была тут, причесанная, отшлифованная, напудренная, старая, великолепная. Впрочем, «старая» – это несправедливо; просто она была немолода. И это было видно: на шее, у подмышек, на коленях и бедрах – везде был нанесен безжалостный рисунок, похожий на географическую карту, очень подробную и очень точную, в общем, сделанную на совесть.

Нора Жедельман с любопытством смотрела, как он ходит по комнате. По всему было видно: он не из тех, которые ей обычно попадались, – не «котенок». У Себастьяна была гордая посадка головы, красивые руки, ясный взгляд, который ее заинтриговал. Она спрашивала себя с любопытством не меньшим, чем сам Себастьян, что он собирается делать сначала у нее в гостиной, потом в ее постели. И хотя, казалось, он спрашивает себя о том же, она решила положить конец этому недоразумению и принялась действовать. Она легко встала с дивана с продуманным кошачьим изгибом, который вдруг напомнил ему, что завтра у нее мануальный массаж, и направилась к нему. В ожидании, когда она приблизится, он, застыв, стоял у окна, пытаясь вспомнить какую-нибудь женщину, которая ему нравилась, или какой-нибудь эротический шедевр. Напрасно. И вот она рядом с ним, прикрытые руки обнимают его, она виснет у него на шее, и самые дорогие платья Нью-Йорка готовы вонзить в него свои клыки. К его большому удивлению, все получилось как надо, и она подарила ему пару очаровательных запонок, которые он тут же продал: Элеонора, его прекрасная птица, его сестра, его сообщник, самая большая любовь его жизни – у нее будет сегодня королевский вечер...

Январь 1972 года

Вот уже скоро полгода, как я забросила этот роман, подходящие к случаю рассуждения и не подходящих ни к какому случаю моих шведов. Самые различные обстоятельства, сумасбродная жизнь, лень... А потом наступил октябрь ушедшей осени, такой прекрасной, яркой, такой душераздирающей в своем блеске, что я, охваченная радостью, спрашивала себя, как его пережить. Я жила в Нормандии совсем одна, полная сил и измученная одновременно, с удивлением разглядывая длинную царапину около сердца, которая быстро заживала, превращаясь в гладкий, розовый, едва различимый шрам, который потом я, наверно, буду недоверчиво трогать пальцем – зная о нем только по памяти, – чтобы убедиться в собственной уязвимости. Но, ощутив вкус травы, запах земли, я снова погрузилась в историю двоих, направляясь на своей машине в Довиль и распевая «Травиату» как иерихонская труба (есть такое выражение). И в октябрьском опустевшем Довиле, пылающем красками осени, я смотрела на пустынное море, на сумасшедших чаек, которые проносились над дощатым настилом, на белое солнце, а повернувшись спиной к свету, видела персонажей, будто «срисованных» из фильма «Смерть в Венеции» Висконти. И вот я одна, наконец одна, сижу в шезлонге, бессильно свесив руки, будто чья-то мертвая добыча. Снова отданная одиночеству, подростковой мечтательности, тому, без чего нельзя и от чего различные обстоятельства – то ад, то рай – все время вынуждают вас уходить. Но здесь ни ад, ни рай не могли разлучить меня с этой торжествующей осенью.

Но что же делали мои шведы все лето? На площади Ателье, на Монмартре, где в августе мы ставили пьесу, я беспокоилась за них. Проходили мимо дамочки с самодельной завивкой, с сумками в руках, трусили рысцой собаки, прохаживались травести с растекшимся от беспощадного солнца гримом. Сидя на террасе моего любимого кафе, я сводила Ван Милемов с Жедельманами или посылала их в провинциальное турне с молодым певцом, я придумывала для них перипетии, которых никогда не напишу, – я знала это, к примеру, из-за грядущей репетиции. Прекрасно сознавая, что поступаю в высшей степени безрассудно, я тем не менее

не исписала ни малейшего листочка бумаги. О наслаждение, о угрызения совести... Иногда мне доверяли присмотреть за собакой, за ребенком, пока владелец сражался с жизнью в супермаркете «Присюник», катя перед собой тележку... Я беседовала с кем-нибудь из веселых бездельников квартала. Мне было хорошо. Позже будет темный зал, проекторы, актерские проблемы, но сейчас было парижское лето, нежное и голубое. И я ничего не могла с собой поделывать. На этом закончим главу-извинение, главу-алиби. Сегодня я снова в Нормандии. Идет дождь, холодно, и я не выйду отсюда, пока не закончу книгу, – только под пистолетом. Даю слово. Ох!

– Поставь эту пластинку еще раз, если ты не против, – попросила Элеонора.

Себастьян протянул руку и отвел звукосниматель – проигрыватель стоял около него на полу. Он не спросил, какую пластинку. Элеонора после периода увлечения классикой влюбилась в песни Шарля Трене и слушала только его.

На ветке умершего дерева Качается последняя птица Уходящего лета...

Они расположились в гамаках на террасе виллы Жедельманов в Кап-д'Ай. Трудности начального периода прошли, и Себастьян стал чувствовать к Норе Жедельман что-то вроде привязанности. Он называл ее «Lady Bird», впрочем к ее крайнему неудовольствию. Анри Жедельмана он называл «господин президент»: изрядно выпив, тот пускался в описания политических покушений очень дурного вкуса. Элеонора, совершенно покоровив обоих хозяев, погрузилась в милое сердцу чтение, на этот раз на берегу моря. Загорелая, приветливая, спокойная, она проводила эти летние дни как во сне, между страницами романов, которые читала. Несколько светских приятелей хозяев составляли ее свиту, впрочем ухаживания никакого результата не имели. Зато Себастьян всячески потакал ее свиданиям с садовником виллы, кстати, красивейшим парнем. Но об этом они не говорили. Насколько их «романы» рассматривались ими, вернее, между ними как сюжет для развлечения, настолько же тайные порывы страсти должны были держаться в секрете. И он прекрасно знал, что именно это уважение к чувственным привязанностям друг друга (пополам с неременной иронией по поводу своих сердечных дел) и позволяет им так хорошо ладить. Они презирали всякое выставление напоказ, которое в те времена становилось правилом, особенно на тех берегах. Наглухо застегнутые воротнички были их единственными спасителями. Будучи спеленутыми моралью образца 1900 года и едва освободившись от нее, они поспешили облачиться в свои покровы. Их находили странными, необычными прежде всего потому, что они великолепно смотрелись – что тот, что другая. Они же считали себя просто приличными людьми. Они знали, что вкус тела есть нечто нежное, чувственное, естественное, похожее на вкус воды, на любовь собак или коз, на огонь и что это не имеет отношения ни к распушенности, ни к эстетизму. Доказательство – Себастьян, который без малейшего колебания принимал каждый вечер в свои объятия Нору Жедельман, задыхаясь в тисках ее духов, ее кожи и ее манеры выклянчивать ласки. Огромная нежность, нежность равнодушия, охватывала его тогда, и его тело послушно следовало ей. К тому же они были северянами во всем, и солнце не имело над ними такой власти, порой жестокой, как над другими. Это повышало их престиж, хотя они об этом не подозревали: плевать на солнце, на загар в те времена и в тех местах было все равно что плевать на деньги.

Друзья Жедельманов в большинстве своем были американцы, очень богатые, но не слишком утонченные, которые непрестанно сновали челноками из Америки в Европу и обратно. Надо сказать, для многих из них некоторые гостиницы Парижа были наглухо закрыты. Их иногда приглашали на благотворительные вечера, а имея в виду их щедрость, они могли быть удостоены приглашения на завтрак, но только в «Плаза». Они были озадачены присутствием Ван Милемов – явно людей из старой европейской семьи – и связью Себастьяна с Норой Жедельман, тоже не менее явной. В нем ничего не было от жиголо (а сколько у нее их перебивало!) – однако брат с сестрой жили за счет своих хозяев. Один из прежних воздыхателей Норы, подбодренный алкоголем, позволил себе высказаться на эту тему и тут же получил от Себастьяна

первоклассный нагоняй, так что дискуссия была прекращена. К тому же брат и сестра, казалось, были очень близки друг другу. Короче, они не были похожи на остальных, – в общем, они были опасны, а значит, притягательны. Женщины, по-настоящему красивые и такие же богатые, как Нора, все лето крутились около Себастьяна. Напрасно. Прекрасно сохранившиеся американцы наталкивались на абсолютное безразличие Элеоноры. В конце концов, если бы привязанность бедняжки Норы не была такой очевидной и такой классической, их могли бы заподозрить в худшей форме извращенности.

Этим вечером твое верное сердце со мной. А завтра над морем ласточки будут летать...

Трене пел, а море становилось серым. Появилась Нора в шелковой тунике сиреневого цвета, который слегка бил Элеоноре в глаза.

– Время коктейля, – сказала она. – Бог мой, эта пластинка... Прелестная песня, но такая грустная... особенно в эти дни...

– Выключи, – сказала Элеонора Себастьяну.

Она приветливо улыбнулась Норе. Та ответила на улыбку чуть-чуть неуверенно. Она задавала себе множество вопросов по поводу Элеоноры и должна была отказаться от намерения вызнаться что-то у Себастьяна, потому что тот сразу становился холоден как лед. Она знала только, что там, где Элеонора, там и Себастьян. В определенном смысле это было хорошо и не так задевало, как могло задеть что-нибудь другое. Она попыталась толкнуть в объятия Элеоноры Дэйва Барби, блестящую партию и очаровательного человека. Никакого результата. И кто такой этот Хуго, который сидит в шведской тюрьме? И откуда у нее самой взялся такой любовник, загадочный и галантный, который принимал ее подарки любезно и рассеянно и на которого, в сорок лет, то нападал безумный мальчишеский смех, то необъяснимая хандра? Несмотря на глубокий цинизм, она привязывалась к нему: она умела привязываться и знала, что умеет. Это беспокоило ее. Что он думает делать в Париже? Где намеревается жить со своей мечтательной сестрой? Рассчитывает ли он на нее, Нору, или на случай? Он не заговаривал с ней об этом, однако через три дня надо было возвращаться.

Марио, садовник, шел к ним по аллее с лиловыми георгинами в руках, которые, улыбаясь, протянул Норе. Элеонора посмотрела на него с нежностью. В первое утро после приезда, открыв окно, она увидела его загорелую, гибкую спину, ловкие движения удлинённых рук, подрезавших деревья, смуглый затылок. Он обернулся и сначала вежливо улыбнулся ей, потом улыбка исчезла с его лица. Тогда она сама улыбнулась ему, прежде чем закрыть окно. Когда все в доме засыпали или, скорее, когда по вечерам все уезжали в Монте-Карло и Канн, она спускалась по лестнице и шла в глубину сада. Там у Марио был сарайчик для инструментов, где пахло свежей мятой и соснами, там был праздник, где они кружились вдвоем, была восхищенная улыбка Марио, свежие губы Марио, горячее тело Марио, которое не нуждалось в массаже. Он был, как весь его славный народ, веселый и нежный, и ей было хорошо с ним, вдали от этого дома, захламленного мебелью, от этих шумных людей и звона долларов. В конце концов, их каникулы обеспечивал Себастьян. Себастьян, идеальный брат.

– Отдайте эти поздние цветы мадам Ван Милем, – сказала Нора, – как они красивы... этот сиреневый цвет...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.